

МОЕ УЧАСТИЕ В ЭМИГРАЦИИ ДУХОБОРОВ В КАНАДУ.

П. А. КРОПОТКИН

1898 — 1899 ГОДЫ

28 августа 1898 года моему отцу минуло семьдесят лет. Приехало довольно много народа. Я приехал накануне и после 28-го остался в Ясной Поляне на несколько дней. В то время отец был очень озабочен переселением духоборов, преследовавшихся царским правительством, из России в Канаду.

В начале сентября в Ясную Поляну приехали с Кавказа два духобора из числа расселенных — Иван Абросимов и Николай Зибарев. Они сообщили моему отцу, что все духоборы-постники бесповоротно решили переселиться в ближайшее время, что если им не помогут переселиться в Америку, то они просто перейдут через границу в Турцию или переплывут в Румынию

Расселенные не могли продолжать жить так, как они жили выселенные из своих домов в низменную, нездоровую местность, живя среди бедного грузинского населения, повально болев лихорадкой и трахомой, без заработка, без права отлучки, без надежды на улучшение своего положения, они проедали свои последние деньги и вымирали.

Из 4000 расселенных за два года умерло более 1000 человек. Приблизительно около 1000 человек уплыли на Кипр.

Оставшимся 2 000 человек необходимо было эмигрировать и как можно скорее. За ними решили эмигрировать и часть елизаветпольских (около 1500 человек), и часть карсских духоборов (около 3000 человек).

В то время в Англии делом духоборческой эмиграции занимались квакеры, В. Г. Чертков и его помощники. Выяснилось, что благодаря посредничеству П. Кропоткина и его приятеля профессора в Торонто Джемса Мэвора, канадское правительство принципиально принимало духоборов, но условия переселения не были определены, и канадское правительство настаивало на том, чтобы переселение основной массы духоборов состоялось не раньше весны будущего года теперь же, осенью, оно соглашалось принять только сто семейств.

По делу о найме, парохода для перевозки эмигрантов из Батума в Канаду действовал Леопольд Антонович Суллержицкий сперва в Одессе, а потом в Батуме. Однако цена переезда,

продовольствия переселенцев, доставка их по железной дороге до центра Канады и пр. — все это намного превышало те средства, на которые можно было рассчитывать.

Отец посоветовал Зибареву и Абросимову поехать в Англию и рассказать Черткову и квакерам о положении дел, а мне предложил поехать в Англию для того, чтобы я выяснил условия переселения и, по возможности, подвинул дело.

Отец спросил меня, в хороших ли я отношениях с Чертковым, и на мой утвердительный ответ поручил мне поехать по духовоборческим делам за границу и передать лично Черткову, вынужденно жившему в Англии, «восемь пунктов» (это было его выражение), касающиеся организации переселения духовоборцев, которые я тогда же записал.

В числе этих пунктов были вопросы: сколько могут дать издатели за переводы двух повестей Л. Толстого — «Воскресение» и «Отец Сергей», гонорар с печатания которых он решил отдать на дело переселения духовоборцев, при условии, что печатание этих повестей будет происходить в России одновременно с печатанием заграничных переводов. Можно ли получить деньги вперед и сколько? Кто будет переводить?

1/13 сентября я поехал в Англию через Берлин и Флиссинген. Туда же и одновременно со мной отправились духовоборцы Зибарев и Абросимов, но они поехали более дешевым путем — морем через Ригу — и поэтому прибыли в Англию позднее меня.

Чертков жил в Эссексе, в местечке Перли. Чтобы туда добраться, надо было из Лондона ехать около двух часов по железной дороге до городка Молдон, а оттуда нанять извозчика и проехать еще верст пять.

Я передал Черткову то, что мне было поручено отцом, и узнал о положении дела переселения духовоборцев.

Чертков, после того, как я ему передал мнение моего отца о необходимости немедленного переселения расселенных, убедился в этом, и мы послали две телеграммы, одну Мооду в Канаду с запросом, примет ли в ближайшее время канадское правительство 2 000 человек, и другую моему отцу с просьбой прислать начало его повести для того, чтобы теперь же заказать ее перевод.

У Черткова, кроме жены Анны Константиновны и сына Владимира Владимировича, жили мисс Пиккард — старая дева из квакеров, и украинка Анна Григорьевна Морозова (Аннушка), давно уже жившая у Чертковых в качестве прислуги и ставшая теперь членом их семьи. Анна Григорьевна работала целый день, приветлива, весела и подчас остроумна.

Когда Чертковы только что приехали в Purleigh, она сострила:

— Перли мы, перли, вот и допёрли до Перли.

Как-то она сказала про митинги, к которым имел слабость Владимир Григорьевич:

— Знаем мы эти митинги! Meeting, eating¹ и чай питинг!

Она уже научилась немного говорить по-английски. Недавно в Молдоне был организован конкурс прачек, в нем участвовало около пятнадцати конкуренток, в том числе Анна Григорьевна. Им дали выстирать и выгладить какие-то полотенца: лучше и быстрее других исполнила эту работу Анна Григорьевна. Несмотря на то, что она не англичанка, ей выдали приз — какой-то сервиз.

Вблизи, дома, где жил Чертков, жил Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич — социал-демократ и эмигрант, помогавший Черткову в его изданиях.

¹ Собрание, еда (англ).

12/24 сентября Чертков меня познакомил с Петром Алексеевичем Кропоткиным. Мы встретились в квакерской гостинице в Лондоне, где обыкновенно останавливался Чертков; Кропоткин жил где-то около Лондона, но часто бывал в Лондоне.

«Опасный анархист» оказался пожилым человеком среднего роста, с седой русой бородой, бодрым я подвижным, немножко торопливым, скромно одетым, в очках. Он имел вид доброго профессора. С первой же встречи он расположил меня к себе, и после нескольких минут разговора мне показалось, что я с ним знаком уже давно.

Его простое, доверчивое отношение к людям, его безукоризненная благовоспитанность, не только внешняя (недаром же он воспитывался в пажеском корпусе), но и внутренняя, — все это привлекало к нему.

Конечно, он прежде всего заговорил о духоборах. Ведь первое предположение о переселении духоборов в Канаду исходило от него. Когда он узнал, что выселение духоборов из России — дело решенное, он запросил своего приятеля профессора Мэвора о возможности переселения духоборов в Канаду. Мэвор повел пропаганду о желательности иммиграции духоборов, как людей, пострадавших за веру, трудолюбивых в вообще почтенных, и стал хлопотать перед канадским правительством о принятии их в Канаду.

11/23 сентября Петр Алексеевич, Зибарев, Абросимов и я осматривали Британский музей. К сожалению этот день было воскресенье, и некоторые отделы были закрыты. Лучшего чичероне, чем Петр Алексеевич, трудно было найти для Британского музея. Музея он знал отлично, попутно он сообщал нам разные научные сведения. Помню рукописный отдел, где под стеклом лежало знаменитое древнее Александрийское евангелие, палеонтологический отдел с исполинским скелетом археоптерикса и других допотопных животных, промышленный отдел с разнообразными машинами и т. д. Но времени у нас было мало, и осмотр поневоле оказался поверхностным.

Я высказал Петру Алексеевичу, что меня поражает многосторонность его знаний. Он сказал: «Я поневоле-должен иметь точные и многосторонние научные познания. Ведь я уже несколько лет веду научный отдел в «FortnightlyReview». Вы понимаете, как я должен его вести, всякий мой промах может быть использован теми, кто хотел бы занять мое место в журнале, а таких людей много; кроме того, мне, как иностранцу, приходится быть особенно осторожным».

Наша компания, особенно духоборы, в их своеобразной духоборческой одежде — на них были широкие шаровары, большие сапоги, синие бешметы, бараньи шапки, — обращали внимание публики: многие смотрели на нас с удивлением. Переходя из одного здания музея в другое, мы встретили высокого человека в цилиндре, внимательно смотревшего на нас. Петр Алексеевич сказал: «Вы заметили этого человека в цилиндре? Это русский шпион. Я уже не раз его встречал. Он следит за теми, которые бывают со мной. Если вы боитесь неприятностей при возвращении в Россию, держитесь от меня подальше».

Вспоминаю отрывки из моих разговоров с Петром Алексеевичем. Незадолго перед тем погиб Кравчинский (Степняк), убивший шефа жандармов Мезенцова, Кропоткин был с ним дружен и говорил» что Кравчинский не раскаивался, а своей террористической деятельности, но всегда с ужасом вспоминал о той минуте, когда он вонзил, свой кинжал в грудь Мезенцова.

Кравчинский жил в предместье Лондона и каждый день ходил на службу. Для сокращения пути он проходил по полотну железной дороги по столь узкому месту, что при встрече с поездом сойти было некуда. Обычно он сообразовался с расписанием поездов, чтобы пройти по этому месту в те минуты, когда поезд там не шел. Но однажды он ошибся временем и поезд прошел не вовремя. Он не успел пробежать опасное место, и поезд его раздавил.

По доводу рассказа Петра Алексеевича об убийстве Мезенцова я спросил его, одобряет ли он подобные убийства, как, например, убийство старой австрийской императрицы, происшедшее незадолго до нашего разговора. Он ответил, что в данном случае ему жаль, что убита ни в чем не повинная старуха, но, как это ему ни тяжело, он по совести должен взять на себя ответственность даже за это убийство, так как принципиально рекомендует террор. В эту мою заграничную поездку я прочел книгу Кропоткина «L'acquettedupain» («Завоевание хлеба»), запрещенную в России. В этой книге я искал ответа на вопросы, занимавшие меня еще в юности: нравственное и умственное развитие людей зависит ли от форм их жизни? Если будут разрушены существующие формы жизни, прежде всего государство и собственность, то сложатся ли отношения людей в лучшие формы или нет? Не произойдет ли того же, что и с растворенными кристаллами, когда после выпаривания раствора кристаллы опять слагаются в те же кубы, ромбоэдры и пр., в которые они сложились до растворения их. Когда рабочий класс завладеет всем, то, по мнению Кропоткина, жизнь сложится в лучшие формы, но в какие формы — в его книге остается неясным. Почему он думает, что новый строй сам собой сложится в лучшие формы? Ведь люди останутся теми же, какими были. На это Петр Алексеевич мне ответил: «Люди лучше, чем формы их жизни. Эти формы сложились исторически, по инерции; они неразумны и обветшали. Ответы на ваши вопросы настолько очевидны, что я не считаю нужным на них останавливаться».

Прощаясь со мной, Петр Алексеевич позавидовал мне, что я возвращаюсь в Россию. Он с грустью сказал: «Едва ли когда-нибудь мне удастся увидеть Россию» Он был так любезен, что прибавил: «Я бы пришел проводить вас на вокзал, когда вы уедете из Лондона, но на вокзале всегда шныряют шпионы, и я боюсь, что если они увидят вас со мной, то в России вас будут ожидать неприятности».

Пришли другие времена, и Кропоткин после революции получил возможность вернуться на родину. Я несколько раз виделся с ним. В 1919 году он жил в одном особняке на Никитской. Случайно я попал к нему в день рождения. Там играли трио: Шор, Крейн и Эрлих. Было довольно много народа, мне мало знакомого. Был подан обильный ужин, устроенный его друзьями. Петр Алексеевич был приветлив, как старый барин, но ужин был скучен и не оживлен. В другой раз я его видел на квартире у Трубецких, где он занимал две комнаты. В. Д. Философова пела, я ей сопровождал и затем сыграл кое-что на фортепиано. Он слушал внимательно. Вообще он любил музыку. Узнав, что я живу на углу Штатного (ныне Кропоткинского) переулка, он сказал:

— А я родился в доме рядом с вами (Штатный, 26). Недавно я там был и поклонился памяти моей матери. Ее спальня сохранилась, кроме мебели конечно.

Во время моих свиданий с Петром Алексеевичем в Москве я встретил в нем прежнее благожелательное отношение ко мне, но я уже не вел с ним прежних принципиальных разговоров. В одном разговоре он почему-то коснулся вопроса о крестьянской поземельной общине, которую он идеализировал по примеру старых народников. Когда я заикнулся о вреде общины, он выразил неудовольствие, и я замолчал.

Два слова об отношении моего отца к Кропоткину. Отец лично не знал его, но интересовался его взглядами и сочувствовал его анархическому идеалу, однако не насильственному проведению этого идеала в жизнь. Много в книге Кропоткина «Fields, factories and workshops» было для него ново, особенно та глава, где говорится о почти безграничных возможностях интенсивного земледелия. Отец находил, что данные Кропоткина опровергают теорию Мальтуса: земледелие, огородничество и садоводство могут прокормить множество людей; чем больше людей, тем больше рабочих рук; земли же нужно тем меньше, чем интенсивнее она разрабатывается. Отец добавлял, что если люди будут вегетарианцами, земли понадобится еще меньше: не нужны будут пастбища и посевы кормов для мясных животных.

Возвращаюсь к своему пребыванию в Англии осенью 1898 года.

13/25 сентября вечером — митинг в доме Моода. Собрались колонисты в шерстяных рубашках, некоторые босые. Зибарев рассказывал. Переводила жена Моода. Привожу рассказ Зибарева.

В ночь на 29 июня 1895 года произошло сожжение оружия. Духоборы подвезли к одному месту свое оружие, кинжалы, ружья и револьверы, два воза угля, двадцать возов дров и керосин. Дрова везли на фургонах, запряженных четырьмя лошадьми. Во время сожжения оружия молились и пели псалмы до двух часов ночи. Некоторые ружья и револьверы были заряжены и выстрелили в землю. Два раза к ним приезжали посланцы от губернатора Шервашидзе с требований идти к нему. Они отвечали, что придут, когда кончат свою молитву. За четверть часа до окончания богослужения явились казаки и сразу стали бить их нагайками. Так били, так раскровянили лица, что брат брата не узнавал: трава была не видна от крови. Начальник — сотник Прага — особенно досадовал на то, что не мог разбить духоборов на отдельные кучки и одиночки, они смыкались в круг и, взявшись за руки, загоразивали женщин, стоявших в середине круга. Казаки старались разомкнуть круг и поэтому долго били. Потом казаки погнали духоборов к губернатору Шервашидзе, бывшему от них верстах в пятнадцати. Шервашидзе выехал к ним навстречу в коляске. Они не сняли перед ним шапок, и казаки стали сбивать с них шапки. Сам Шервашидзе бил палкой духоборов и тряс их за шиворот.

Чертков после рассказа Зибарева сказал, что вся эта история произошла вследствие безумия одного человека — Шервашидзе. В тот же день у елизаветпольских и карсских духоборов сожжение оружия произошло мирно и благополучно, а в Тифлисской губернии вызвало это

ужасное побоище а еще более ужасный погром казаков в духоборчески[^] селениях с грабежом, изнасилованием женщин и последующим выселением духоборов.

Зибарев говорил еще о том, что после погрома казаков им поставили старшину-магометанина, который распорядился в три дня всех выселить. В эти три дня их имущество было продано за бесценок Сам Зибарев продал одиннадцать коров за сто рублей.

Рассказ Зибарева произвел сильное впечатление на англичан.

Незадолго перед моим отъездом я получил письмо от отца, побудившее меня ехать в Париж поискать там переводчика и издателя его повестей. В Англии этим должен был заняться Чертков. Вот это письмо, написанное мне отцом в середине сентября 1898 года:

«Спасибо тебе, милый Сережа, за твою готовность служить делу духоборов и, я знаю, — и мне. Я очень ценю это и постоянно радуюсь, как вспомню о тебе. Если ты и не будешь так определенно полезен, как ты бы хотел, поездка твоя, я думаю, будет иметь невидимые, но значительные последствия. Очень хотелось бы, чтоб тебе было хорошо, и почему-то надеюсь, что это будет. Если же ты недоволен неопределенностью, то вот тебе самое определенное дело: выяснить (в Париже или Лондоне у издательских фирм), сколько дадут за две повести, почем за слово или букву и на каких условиях, и сколько вперед денег, и когда все? Прощай, пока у нас все здоровы и благополучны. Л. Т.» 1 или 2 октября по н. ст. я поехал в Париж. На пароходе, во время переезда через Ламанш, ко мне подсел один подозрительный человек, по-видимому русский шпион. Вечером в темноте, увидав, что я вынул папиросу, он предупредительно зажег спичку, осветив мое лицо, и сразу стал меня спрашивать по-русски, с еврейским акцентом:

— Вы из настоящей России? Едете в Париж? Долго пробудете за границей? И т. п.

Был ли это тот самый человек в цилиндре, на которого обратил мое внимание Кропоткин во время нашего осмотра Британского музея, я установить не мог. Но в Париже, выходя из вагона, я на всякий случай принял меры, чтобы никто меня не проследил.

В Париже, к сожалению, не было ни знакомого мне профессора русского языка Поля Буайе, ни моего приятеля Шарля Саломона. Я обратился за советом к Павловскому-Яковлеву, сотруднику «Нового времени». Он дал мне несколько полезных советов и поехал вместе со мной к издателям Лемерру. Лемерр-сын любезно принял меня, но когда я предложил ему издать перевод повести моего отца, он отказался.

— Нашему издательству, — сказал он, — переводные повести Толстого можно будет продавать только несколько дней после того, как они выйдут по-русски. Литературной конвенции между Россией и Францией нет, и как только появится русский текст, разные господа, вроде Гальперина-Каминского, сейчас же переведут его и, конкурируя дешевой своей плохой изданий, подорвут наше издание.

Затем я был на даче у добродушного старичка Бонэ-Мори, бывшего когда-то в Ясной Поляне. Ничего дельного он мне не посоветовал, а хотел, чтобы перевод повестей моего отца сделал его сын, почти не знавший русского языка.

Кто-то посоветовал мне обратиться в редакцию «Revue des deux Mondes» к Брюнетьеру, бывшему в то время главным редактором этого журнала. Добраться до него было так же трудно, как получить прием у русского министра. Это был бледный, неулыбающийся,* изящно, но скромно одетый во все черное, по-видимому желчный, сухой человек. Он сказал, что за повести Толстого, если только они годятся для семейного чтения, он заплатит столько же, сколько и за другие переводные статьи, а именно — 1000 франков за лист. Когда я ему сказал, что гонорар пойдет на помощь переселению духоборов, преследуемых русским правительством, он пренебрежительно ответил, что это его не касается.

В поисках переводчика я по совету Павловского ездил к каким-то Гольдсмитам — матери и дочери. Но мне показалось, что они принадлежат к типу Гальперина-Каминского: недостаточно знают русский язык и едва ли переведут хорошим французским языком. И я поехал к офранцузившемуся поляку, Теодору де Визева, сотруднику «Revue des deux Mondes». Визева соглашался переводить, что он впоследствии и сделал. Он перевел «Воскресение» хорошим французским языком, но недостаточно точно и, как правоверный католик, выпустил главу об обеде в тюрьме.

Я у него завтракал: присутствовали его жена и свояченица. Жена его — русская, рожденная Изгоева. Я говорил, что русские и поляки имеют общего врага — русское правительство, а он хвалил русскую литературу.

— Они восхитительны, люди вашей страны, — говорил он. — Я писал Потапенко, прося его указать мне на такое его произведение, которое можно было бы перевести (кроме его первой повести о священнике, уже переведенной). Он мне ответил, что у него ничего, стоящего перевода, нет. В том же скромном тоне писал о своих романах и Гончаров.

Визева перевел «Обыкновенную историю» Гончарова и «Об искусстве» Л. Толстого. Он был немного музыкант и собирался писать биографию Моцарта.

Итак, я нашел в Париже переводчика повестей отца, но издателя было трудно найти, во-первых, потому, что я не знал, к кому еще я мог бы обратиться, а, во-вторых, потому, что я не мог показать издателю предлагаемый материал. И я решил возвратиться в Россию.

29 сентября (11 окт.) я был в Ясной Прляне. Я передал отцу все, что выяснилось по духоборческому делу, и о моих не совсем удачных переговорах с переводчиками и издателями в Париже. Мне было радостно, что мои отношения с отцом, бывшие в последнее время несколько натянутыми, теперь стали более сердечными. Общее дело — духоборческое переселение, которому я вполне сочувствовал, сблизило меня с ним. В его дневнике от 2 ноября 1898 года есть такая пометка: «Сереза вполне близок делом и чувством. Нарочно не трогаю словами».

Отец был занят «Воскресением». Тогда же он записал в своем дневнике: «Я весь поглощен Воскресением, берегу воду и пускаю только на Воскресение. Кажется, будет недурно. Люди хвалят, но я не верю». Было уже заключено условие с издателем «Нивы» Марксом, предполагалось, что получится 12 000 рублей. Эти деньги, как известно, назначались духоборам.

На другой день после моего приезда в Ясную Поляну неожиданно приехал черный, худой, мускулистый человек лет тридцати, с непривычным для нас, русских, выражением решимости и энергии на лице. Одет он был в русской рубашке и пиджаке и в огромной сибирской бараньей шубе. Это был духобор Василий. Позняков, один из тех запасных солдат, которые демонстративно вернули свои воинские билеты начальству и были за это сосланы в Якутскую область на 18 лет.

Теперь он самовольно уехал из Якутской ссылки и едет на Кавказ с целью перевезти с Кавказа в Якутск свою жену и вместе с ней двух жен своих товарищей по ссылке.

До Ясной Поляны он доехал благополучно и здесь пробыл три дня.

Отец с ним много разговаривал и расспрашивал его про преследования духоборов. Позняков рассказал ужасные подробности про построй казачков в их селе. Казаки откровенно грабили, секли мужчин и насидовали женщин, предварительно заперев мужчин в сараи.

Отец спросил Познякова, пострадал ли он сам. Позняков ответил, что его секли так сильно, что следы порки остались у него на теле на всю жизнь.

Отец скептически отнесся к его словам и попросил показать ему эти следы Позняков разделся и показал глубокие рубцы на своей спине.

Рассказ Познякова был напечатан в «Свободном слове» в Англии. К этому рассказу были приложены показания изнасилованных женщин.

Удивительно, что В. Позняков после посещения Ясной Поляны не только благополучно съездил на Кавказ и провез в Якутскую область свою жену и еще двух духоборок, но его отсутствие с места ссылки не было замечено.

В 1904 г. он вместе с другими ссыльными уехал в Канаду.

Вторая повесть, гонорар с которой отец также предполагал отдать духоборам, была «Отец Сергей», но «Воскресение» так разрослось, что он за переработку «Отца Сергия» и не принимался. Он поручил Н. Л. Оболенскому пригласить в Ясную Поляну моего приятеля, юриста А. А. Цурикова (члена суда по Чернскому уезду) проверить, насколько верно описан суд над Катюшей Масловой, и поправить, что не верно. Утром 25 октября Цуриков приехал для этого в Ясную Поляну. В своем неизданном дневнике он так писал о своих поправках:

«Прямо принялся за чтение черновиков повести «Воскресение». Старик все подходил, смотрел, где я читаю, какое место. Просил прямо в тексте делать правки, подчеркивать и надписывать. Крупные ошибки в статье закона обвинение должно быть по 4 и 5 пп. 1453 ст. Уложения, вопросы по этим признакам преступления, а у него отдельно кража денег и отдельно отравление в обвинительном акте, и в вопросах присяжным, и в их прениях в совещательной комнате, и в их ответах. Пришлось переделать. Наказание Катюше осталось то же: 4 — 6 лет каторжных работ. Нелогичность приговора осталась та же, т. е. отвергли 4 п. 1453 статьи и по ошибке признали 5 пункт. Кассационные поводы те же. Все остальное так, как прежде.

Одежду арестантки пришлось изменить Светлую заутреню — также. Слова церковных песнопений неточно были переданы, как например, «Радуйтесь людие» вместо «Людиевеселитесь» и г. д. Третьей часта еще не читал и обещал вернуться в Ясную на этих днях, дочесть и написать обвинительный акт. Ужасно страшно, и робость берет так относиться к тексту, написанному рукой самого Толстого. Он все подходил и смотрел, как и что. Просил без стеснения зачеркивать и надписывать. Я было хотел на отдельном листе писать заметки, а он просил прямо в тексте. Надо было некоторые места вычеркнуть, как напр., что председатель на другой день не разъяснил присяжным их обязанностей. (Между тем как этот закон обнародован в 90-х годах, а дело слушается в 80-х и т. п. подробности.) Очень был ласков и любовен. Много рассказывал, много спорил, так и сыпал ослепительными молниями».

1 ноября Цуриков опять был в Ясной Поляне и, как он пишет в своем дневнике, переделал всю десятую главу «Воскресения» На другой день утром прочет Льву Николаевичу. Он весьма одобрил и отдал в переписку набело, а там на ремингтоне, и глава пошла в печать.

В конце октября неожиданно приехал в Ясную Повяну Л. А. Суллержицкий. Оказывается, его выпроводили с Кавказа, где он хлопотал о найме парохода для перевозки духоборов, тамошние жандармы.

Отец хорошо понял положение дел и решил энергично действовать. Он посоветовал Суллержицкому вернуться на Кавказ, а мне предложил ехать вместе с ним. В то время от «главноначальствующего» на Кавказе кн. Григория Сергеевича Голицына зависело допустить меня и Суллержицкого до содействия духоборам. И отец надеялся, что Голицын разрешит, если не нам обоим, то в крайнем случае, мне одному. И как отцу ни противно было обращаться с просьбой к властям, он написал и дал мне для передачи Голицыну следующее письмо:

«Ваше Сиятельство князь Григорий Григорьевич.

Согласно разрешению Вашего Сиятельства г-н Суллержицкий заведовал в Батуме выселением духоборов за границу. Совершенно неожиданно, однако, в середине его занятий по отправке второй партии в 2000 душ в Канаду, чины жандармского управления объявили ему, что он не имеет права заниматься этим делом, и в канцелярии Вашего Сиятельства ему ответили то же, советуя ему уехать с Кавказа. Дело посадки на пароходы, заготовления провизии, помещения, врачебной помощи переезжающих 2000 душ есть дело большой сложности и трудности, и всякое упущение в нем может повлечь за собой самые тяжелые для переселенцев последствия; от ненужной траты их последних средств до болезней и смертей.

Совершенно уверенный в том, что для правительства нежелательны те печальные последствия, которые неизбежно должны произойти, если переселяющиеся духоборы будут лишены руководителей, и что запрещение Суллержицкому продолжать начатое им дело есть последствие какого-нибудь недоразумения, я покорно прошу Ваше Сиятельство допустить Суллержицкого до исполнения начатого им дела, а также и имеющего передать Вам это письмо сына, графа Сергея Толстого, который предполагает заменить Суллержицкого после отъезда его с второй партией и заведовать отправкой третьей, тоже в 2000 душ, партии, имеющей отправиться в нынешнем же году на нанятом уж для этой цели пароходе. В надежде на благоприятное решение Вашего Сиятельства остаюсь с совершенным уважением.

Ваш покорный слуга Лев Толстой».

8 ноября 1898

Как видно из этого письма, отец ошибся в отчестве Голицына. Он помнил, что его светское прозвище было «Гри-гри Голицын», откуда заключил, что его зовут Григорий Григорьевич. К счастью, эта ошибка, как потом оказалось, не повлияла на решение Голицына. Может быть, даже он ее и не заметил, а когда в Тифлисе я передал ему письмо отца, он дал нам разрешение.

Я наскоро и неожиданно для себя собрался ехать. Я не думая, что уплыву в Америку и вернусь только через полгода, а предполагал пробыть на Кавказе только до отплытия духоборов в Канаду и затем вернуться домой. Однако на Кавказе выяснилось, что для эмигрантов, отправляющихся на втором пароходе, нужен проводник, а кроме меня, проводника не было. Я в то время нигде не служил и, уже будучи на Кавказе, решил отправиться в Канаду.

9 ноября 1898 года я и Леопольд Антонович Суллержицкий выехали из Ясной Поляны. После полутора суток езды по железной дороге и двух суток по Военно-Грузинской дороге мы приехали в Тифлис. В Тифлисе мы решили, взяв номер в гостинице, сейчас же прописаться в полиции и вообще действовать только легально и открыто. Затем я предполагал найти своего давнишнего приятеля, редактора газеты «Кавказ» Ю. Н. Милютину, и просить у него помощи и совета для сношений с кавказскими властями. Суллержицкий пришел в беспокойство и очень боялся, что сейчас же к нему явится полиция и опять выпроводит его с Кавказа. Мы прописались; полиция не явилась.

14-го утром я поехал к Милютину. Он довольно равнодушно отнесся к духоборческому делу. Признавая, что с ними поступили очень несправедливо, он, однако, говорил, что духоборы хотели пострадать, поэтому вызвали на себя гонение, что Шервашидзе только сделал ошибку, но всегда желал им добра, что государство не может их не преследовать, так как они не признают государства, что они любят деньги и пр.

Милютин вообще очень критиковал все кавказское начальство. Кавказские администраторы, между прочим, по его мнению, были плохи, что они не знали местных языков и поэтому находились во власти переводчиков, Администраторы же из местного населения плохи и, кроме того, делают, что хотят, так как их вследствие опять-таки незнания местных языков нельзя контролировать. Милютин, когда издавал «Кавказ», писал ряд статей, иллюстрирующих это положение дел, но Александр III был этим недоволен и написал где-то на полях:

«Пусть грузины и армяне учатся русскому языку, а не русские местным наречиям».

Милютин посоветовал мне: 1) расписаться у кн. Голицына, 2) обратиться к начальнику его канцелярии Мицкевичу, изложить ему наше дело и просить его устроить мне с Голицыным особое свидание ранее понедельника — его приемного дня и 3) предупредить Голицына через его адъютанта Свечина; это Милютин брался сам сделать.

15-го утром я расписался у кн. Голицына и отправился к Мицкевичу. Суллержицкий скрылся в Тифлисе у своей знакомой, г-жи Пашенко, так как боялся, что полиция выпроводит его с Кавказа раньше, чем я буду иметь возможность ходатайствовать перед Голицыным о предоставлении нам свободы действий.

15-го Суллержицкий опять не ночевал в номере, продолжая скрываться. Утром 16-го он, наконец, явился. Сейчас же хозяин гостиницы сообщил об этом в полицию по телефону, и через пять минут явился пристав и пригласил его явиться к полицеймейстеру. Через полчаса по телефону меня пригласили «во дворец» к Голицыну. Я сейчас же поехал. Через четверть часа меня ввели к князю. Говорили, и впоследствии я в этом убедился, что кн. Голицын каждого, у которого есть до него дело, не оставляет без начальнического окрика; однако на этот раз он совсем учтиво меня принял. Он прочел письмо отца (кроме обращения) вслух и потом начал говорить и говорил очень много, так что мне почти не пришлось говорить. Он сказал, что он все готов сделать для облегчения переселения духоборов; что он желает всяческих благ духоборам в Канаде, где он сам между прочим был, и что разрешит Суллержицкому и мне заниматься переселением духоборов, только пусть Суллержицкий немедленно уезжает в Батум, а затем отправляется с первой партией духоборов и более уже не возвращается в Тифлис. Затем он стал говорить о влиянии моего отца на духоборов, предполагая, что чуть ли не во всем последнем движении духоборов причинен он. Я старался его разубедить, но безуспешно.

От Голицына я вернулся в гостиницу, куда явился и Суллержицкий. Оказалось, что вскоре после того, как он явился к полицеймейстеру, последнего по телефону спросили от главноначальствующего, где Суллержицкий, на что полицеймейстер ответил: — Здесь. — Где? — У меня в кабинете. — Это вышло удачно: оказалось, что Суллержицкий не только не скрывается, но даже сидит в кабинете полицеймейстера. Все время пока длилось мое свидание с Голицыным, он как бы арестованный, сидел один в кабинете полицмейстера и его не отпускали впредь до распоряжения князя.

Мы сейчас же отправили телеграмму отцу: «Обоим разрешено, завтра едем в Батум».

Вечер мы провели у Пашенко, которая у духоборов была известна под именем «бабушки». Она много сделала для них — писала прошения, передавала деньги и т. п., за что власти постановили ее выслать из Тифлиса, несмотря на то, что такая мера лишила бы ее всяких средств к существованию; только в виде особой льготы она была оставлена на год, пока ее сын-гимназист не кончит курс.

17 ноября мы выехали в Батум. По дороге мы решили остановиться часа на три в Скра, где жила часть ссыльных духоооров. 1 ихим лунным вечером мы в Скра сошли с поезда. В темноте слышим, кто-го спрашивает. «Алеша, ты это?» Это был духобор Черненко, который вышел встречать другого, но не встретил, а встретил нас; он узнал Суллержицкого и очень обрадовался ему. Мы прошли с ним саженой сто — к хате Зибарева; другой духобор остался караулить наши вещи В зибаревской землянке, построенной из сырого кирпича, без потолка, жило тридцать шесть душ. Когда духоборы узнали о нашем приезде, туда напихалось еще множество народу, пришли «старички». «Старичком» духоборы называли домохозяина — главу семьи. Духоборы называют друг друга по уменьшительному имени: Алеша, Вася и пр., даже дети так называли своих отцов, и только когда дети делаются старше, «начинают понимать», как мне впоследствии объяснил один духобор, они называли отца «родитель» или «старичок». Мать они называли «няней».

Нас посадили в угол, под висячую лампу. Кругом — крупные, с резкими чертами, усатые, бритые лица, волосы напущены на лоб; женщины в каких-то казакинах и шапочках с бантами; в одежде преобладают синий и красный цвета Все были очень рады Суллержицкому, который большинству знаком и на которого смотрели как на избавителя.

В зибаревской хате оказался один почти столетний старик Гриша Боковой, бывший севастопольский солдат Он тоже хотел посмотреть «Канадию». Над ним добродушно шутили.

2 декабря было получено письм отца нам обоим.

«25 ноября 1898 г.

Здравствуй, Сережа и Леопольд Антонович. Ничего не знаю про вас со времени телеграммы. Хочется знать и про дело и про тебя лично, Сережа. Не рано ли ты приехал? Есть ли дело? А если нет, то есть ли интерес и хорошо ли тебе? Как с Голицыным? По делу новостей никаких нет, которые бы вы не знали...»

6 декабря вечером Суллержицкий впал в мрачное и апатичное настроение, что иногда с ним бывало. Вдруг в окно мы увидели зарево пожара в городе. Суллержицкий всегда любил тушить пожары. Он вскочил и побежал на пожар. Видя его в каком-то странном возбуждении, я побежал за ним, На месте пожара Суллержицкий кинулся вперед, оттолкнул пожарного взял у него пожарную кишку и полез прямо на огонь. Я зная, что ему завтра предстоит большая работа — построить нары и погрузить 2000 человек, принял решительную меру: бросился на него, силой отнял кишку и потребовал, чтобы он немедленно вернулся в гостиницу. Я даже выругался. Он удивлённо посмотрел на меня, не обиделся и покорился.

8 декабря был солнечный теплый день. В порту стояла великолепная императорская яхта «Держава». На ней проезжала через Батум императрица Мария Федоровна. Кн. Голицын приехал ее встречать. Я этим воспользовался и, после того как он проводил императрицу, пошел к нему. Адъютант Свечин доложил обо мне, и я на несколько минут получил «аудиенцию». — Только, что я заикнулся ему о том, что я пришел по делу паспортов для елисаветпольских духоборов, как сразу забил фонтан крика и красноречия — это был обычный прием кн. Голицына. «Да что вам нужно? Оставьте меня в покое. Это, наконец, надоело, это переселение на совесть вашего отца; ни вы, ни ваш отец духоборам не нужны. Зачем вы подучиваете телеграммы какие-то посылать?» и т. д.

9 декабря в ясный день началась посадка и размещение духоборов на пароходе «Гурон». Суллержицкий заранее написал мелом на столбах, сколько где мест. По жребью определили, кто где поместится, как как места неодинаково хороши. Половина мест, вся нижняя палуба (верхний трюм) — без иллюминаторов, куда свет проходит только через люки, а во время сильного волнения люки будут закрыты.

Разместиться двум тысячам человек не так просто, и посадка продолжалась всю ночь до раннего утра. Духоборы вообще учтивы и не терпят грубости. Между духоборами ругани я не слышал: самое плохое слово, которое я слышал, это «какой ты негодящий». Они все просты, нравственно воспитаны и доверчивы. Особенно приятно было видеть молодых подростков: у них открытые, здоровые лица.

С утра 10 декабря шла проверка паспортов полицеймейстером.

Уже после полудня поверка кончилась, все духоборы погружены, пароход дал свисток, загрел якорь, и пароход стал отходить.

Весь народ, стоя на верхней палубе, запел свои однообразные, протяжные псалмы. На берегу провожала пестрая толпа: аджарцы, повязанные башлыками, турки в фесках, кое-кто из русских и человек пятьдесят духоборов, остающихся в России или едущих с следующим пароходом. С парохода несколько раз выстрелили ракетой, что полагается у английских моряков, когда они отвозят эмигрантов. Суллержицкий, бывший моряк, залез на рей и махал оттуда шляпой. Все это было красиво, но мне было грустно и страшно за эти 2000 человек. Впереди почти месяц пути, Холод, болезни, может быть, недостаток или плохое качество воды, недостаток хлеба и горячей пищи, а главное качка, морская болезнь, и все это в тесных, полутемных, плохо вентилируемых помещениях. Некоторые, вероятно, умрут дорогой; даже при очень низкой смертности (18 человек на 10000 в год) в месяц должно умереть не менее трех человек из двух тысяч.

Так жалко, что этн хорошие люди уходят из России из-за глупости и жестокости каких-нибудь Шервашидзе или Горемыкина, и так страшно, что там, куда они уедут, им будет нехорошо.

11 декабря Батум опустел после отхода «Гурана». 12 декабря вечером приехал духобор Семен Чернов, благополучно съездивший в Тулу к Л. Н. Толстому. Лев Николаевич относительно переселения в Арканзас посоветовал ему то же, что я думал: не хлопотать об этом. С тем же пароходом из Новороссийска приехали фельдшерицы Е. Д. Хирьякова и М. А. Чехович. с тем чтобы ехать вместе с духоборами на пароходе и дорогой оказывать им медицинскую помощь. Они привезли мне письмо отца от 4 декабря, в котором он писал:

«Хирьякова и ее подруга едут для сопровождения духоборов, первая или вторая партия. Хирьякова известна всем нашим друзьям своей выносливостью и самоотверженностью. Она была у Чертковых во время голода и холеры Такова же и ее подруга... Во всем им можно и должно верить...»

К вечеру 14 декабря пришел пароход «ЛейкСупериор», выдержавший под Батумом снежную бурю.

После обеда пароход стал к пристани; я отправился на него, познакомился с капитаном Тейлором и его помощниками и осмотрел те помещения, в которых нам придется жить. «ЛейкСупериор» несколько больше и новее «Гурана». Он также имел ниже верхней палубы два межпалубных помещения. Под ними трюм.

Хотя «ЛейкСупериор» был нанят с тем, чтобы он привез с собой весь материал для нар, однако, по расчету оказалось, что этого материала не хватит. Таким образом, не только приходилось строить нары, но и покупать материал для них. Поэтому мы пошли со старичками по лесным дворам покупать рейки. Цена на лес в Батуме сильно поднялась, отчасти потому, что покупка леса для первого парохода отозвалась на лесном рынке.

Прасковья Щербакова, у которой два сына были сосланы в Якутскую область, спрашивала меня, есть ли надежда, что ее сыновей отпустят в Канаду, когда все духоборы туда переедут, и обращалась ко мне за советом, ехать ли ей в Канаду или в Якутскую губернию. Я уклонился от такого серьезного совета. Каково это решать, куда ехать, в Якутск или в Канаду!

21 декабря, наконец, началась посадка. Целый день духоборы, как муравьи, подходили к пароходу, нагруженные своими пожитками. Потом старички собрались и по жребью

распределили места. Для этого они разделили всех по деревням на одиннадцать партий. Всего на пароходе должны были разместиться, по счету самих духоборов, 1989 душ, Вечером я расплатился со своей гостиницей и переехал в отведенную мне в первом классе каюту

23 декабря с утра началась поверка документов полицеймейстером. Для этого всех духоборов перевели на берег, а затем полицеймейстер и таможенное начальство поместились у сходень и пропускали людей обратно на пароход, отбирая у каждого проходные свидетельства и сверяя их с паспортами, присланными батумскому градоначальнику от местных губернаторов. Затем полицеймейстер бросал те и другие в простой холщовый мешок. Насколько мало целесообразны были эти меры, выяснилось потом некоторые духоборы прошли под чужими именами; один молодой человек, подлежавший набору, прошел наряженный в женское платье как член другой семьи — девушка, вместо которой он прошел, незадолго перед тем умерла, а об этом начальство не было осведомлено.

Так как духоборы жили дома далеко от начальства и вообще начальство не входило в их жизнь, а только брало с них взятки, то путаницы при этой проверке оказалось порядочно, а времени она взяла много — почти целый день. Некоторые паспорта совсем не были присланы от местных властей, в некоторых было написано не то, что в проходных свидетельствах.

Надо отдать справедливость полицеймейстеру: он делал только строго необходимое и воздерживался от начальнических окриков и излишних стеснений. Однако поверка паспортов на этот раз производилась гораздо строже, чем при отплытии «Гурана». К четвертому часу дня поверка кончилась. Сходни сняли, загремели цепи, и пароход стал отходить.

Погода стояла солнечная и ясная. Когда мы вышли в море, уже вечерело. Выстрелом ракеты наш отъезд не ознаменовался, так как батумские власти, возмущенные прощальным выстрелом «Гурана», запретили это «Супериору».

Итак, нам предстояло теперь три или четыре недели безостановочного морского путешествия. Признаюсь, я уезжал не без некоторого волнения и страха.

Наше плавание было сравнительно благополучно: мы шли только 24 дня те 5350 миль, которые отделяют Батум от Галифакс, и в пути умерли только трое. Одно плохо — мы засели в карантине.

Всем прививали оспу. Доктора никого не пускал на остров с парохода, пока всем не была привита оспа. Я один получил позволение выйти погулять, И вечером в первый раз вышел на берег. Я прошел в глубь острова по замерзшей дорожке между елками. Елки здесь не те, что в России (их англичане называют spruce). Лежал мелкий снег, было тихо, никого не было видно и слышно,

вечернее небо было ясно. В первый раз после двухмесячной суетливой жизни в толпе я был один с природой; в первый раз после месячного пребывания на море я был на суше, и в первый раз я ступал на берег Америки. Я испытал сильное, но трудно выразимое словами настроение. Чувствовалось и облегчение после переезда, и тревога за будущее, и сознание отдаленности от обычных условий жизни и близких людей.

Газеты были полны известиями о духоборах и разным перевернутыми и вымышленными историями о них, о Толстом, о Суллержицком, о Хилкове и др.

Я телеграфировал домой о нашем благополучном прибытии.

Из Америки я уехал в конце марта, перед отъездом побывав в эмиграционных помещениях Виннипега и Селькирка. Те духоборы, которые еще там оставались, выразили мне трогательную благодарность за мое участие в их переселении и на прощание спели для меня свои духовные песни. Эти песни гораздо красивее их однообразных псалмов: некоторые песни поются в оживленном ритме и не все время в унисон, как псалмы. Духоборки подарили мне дюжину платков со своими вышивками.

Я поехал через Монреаль и Торонто в Нью-Йорк. По дороге я провел два дня в Торонто, где виделся с профессором Мэвором, много сделавшим для духоборов. Затем я остановился на несколько часов Ниагаре, чтобы полюбоваться водопадом. В Нью-Йорке я пробыл только три неполных дня. Там виделся с красивым, породистым и умным американцем Эрнестом Кросби. Под влиянием писаний моего отца он оставил службу и пришел к взглядам, близким к мировоззрению Толстого. Он приезжал из Америки в Ясную Поляну нарочно для того, чтобы видеться с моим отцом. Там познакомился с ним и я. В Нью-Йорке он был со мною очень любезен, пригласил меня обедать в своем изящном, но скромном особняке и проводил меня на пароход. Через него я познакомился также с сыном Генри Джорджа и сыном Ллойда Гаррисона. Оба они горячо отзывались о моем отце.

4 апреля 1899 года я приехал в Москву, в хамовнический дом, где в то время жила наша семья.